

---

## КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

### ПОСЛЕДНИЙ ЕВАНГЕЛИСТ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ К юбилею Льва Толстого

*...Не будем обоготворять кумир самолюбия нашего, подобно красивой, но преданной миру женщине, которая боготворит кумир лица своего. Сердцем будем подобны младенцам, чтобы иметь простоту веры, чистоту и невинность нравов, чтобы чувствовать ужас греха и не стыдиться унижения и святого юродства крестного, которое есть сила и Божья премудрость.*

Сергей Нилус. Святыня под спудом

◆ Вне всякого сомнения, *ipso facto*\* апология человека, на чем мы завершили предыдущую «Колонку главного редактора» (см. «ПЗ» № 1, 2018), во многом, если не в основном, зиждется на генофенотипически вошедшем в его, человека, сознание уникальном феномене беспрецедентной христианской этики и морали, чему, в частности, посвящена наша книга\*\*, получившая положительный отзыв как высоких церковных иерархов, так и видных общественных деятелей. Но — это к слову, ибо наша тема конкретизирована — к очередной юбилейной дате гения русской литературы: религиозно-философское творчество Льва Николаевича Толстого и особенно — его соединение книг Четвероангелия. Однако предварим очерк опять же «личным моментом», без которых человеку пишущему сложно обойтись... если, конечно, это идет на пользу раскрываемой темы.

...После окончания Литературного института меня стали «замечать» в Приокском книжном издательстве, благо оно базировалось в Туле. В этом межобластном культуртрегерском учреждении издавался и известный в литературоведческом мире ежегодник «Яснополянский сборник». Вернее не издавался в полном смысле этого слова, но только технически-редакторски готовился и печатался, поскольку вся его редколлегия состояла из ведущих столичных исследователей творчества Толстого, а сам ежегодник формировался учеными и иными советами московских же учреждений литературоведческого профиля, так или иначе связанных с «зеркалом русской революции» — не будем забывать, что речь идет о советских восьмидесятих годах. И уже самоочевидно, что почти все авторы таких ежегодных выпусков являлись представителями «столичных и университетских центров». Но редколлегия являла малую милость и редким тульским письменникам от толстововедения: все же и сборник и место издания его касались нашего славного города...

---

\* В силу одного этого, само по себе (лат.)

\*\* Яшин А. А. Фемениология ноосферы: Апология христианства: монография «Живая материя и феноменология ноосферы». Т. 15 / Предисл. А. И. Субетто: РАЕН, ПАНИ, НОАН.— М.: «Московский Парнас», 2018.— 506 с., ил. (См. на разных сайтах Интернета по поисковику).

Вот и мне, автору художественной книги, только что вышедшей в Приокском издательстве, знакомый редактор, курировавший «Яснополянский сборник» на стадии его технической подготовки, предложил поучаствовать, дав кому следует хорошие аттестационные референции «молодому прозаику и публицисту, знатоку творчества Толстого, прорецензировавшему по просьбе издательства две книги публицистики о нашем великом земляке...» И так далее. Словом, дали добро, выражаясь по-флотски. И ваш покорный слуга постарался не посрамить оказанную честь участия в всесоюзном толстовском сборнике. ...Молодости литературной не свойственно сколь-либо заикливаться на внезапных «отлупах». Уже откладывал из заначки скромной инженерной зарплаты — гонорар, вполне приличный, за ранее изданную книгу уже потратил — для приобретения десятка свежееотпечатанных томов «Сборника» для презентов, поскольку верстку-набор своей статьи уже вычитал, а по плану издательства книга должна была вот-вот выйти... как позвонил приятельский редактор и попросил зайти в издательство, где в доверительной беседе огорчил. Получалось по его словам, что при «высокой столичной» вычитке уже готового набора моя статья столь опечалила литературоведа <имя рек> не менее высокого авторитета, что тот созвонился с еще более высоким начальством, в результате чего мой опус выкинули из *уже готового набора*... по личному распоряжению тогдашнего руководителя Госкомпечати (а это министр!) с формулировкой-приговором: «Как порочащий имя нашего великого...» И так далее.

Кстати, не ведаю, как сейчас поживает-здоровствует этот <имя рек>, но еще лет десять тому назад с удовольствием читал в центральной литературной периодике его многомудрые рассуждения о свирепствах советской цензуры в части глушения свободы и пр., в литературоведении в частности... Словом, как опять же во флоте говорят: компас развернулся на 180°!

...Уже попозже приятель-редактор, заинтересовавшийся вмешательством госкомпечатного министра и кое-что выяснивший, поздравив меня с цензором столь высокого ранга, за дружеским обедом с «очищенной» рассказал: «Гордись, Афанасьич <так меня со школьных лет звали за вкусное на слух старорусское отчество>, немного до Пушкина не дотянул: у того сам Николай Палкин цензором был, но и у тебя целиковый министр! А по делу так вырисовывается: во-первых, ты цитируешь в статье редкостные издания (грешен, эстет книжный и собиратель...), которые не ведомы членам редколлегии сборника; во-вторых, ты приравнял в равнозначности художественную прозу Толстого с его же морально- нравственным и религиозно-философским творчеством, а главное — употребил чуждый советской гуманитарной психологии термин «эвропатология». И я, Афанасьич, только от тебя суть его узнал...»

Много еще чего рассказал приятель-редактор под ресторанный салат-оливье «Столичный», далее сборную солянку, антрекот с картошечкой-фри, а еще далее... до закрытия заведения — с гусарским гулянием, с заказом «трояк на парнас» любимой музыки и песен ресторанному оркестру, где солировал Миша Шафутинский, ушедший за год перед отъездом в США, чтобы не подставлять директора филармонии Михайловского, в ресторанные лабухи, а за соседним столиком гулял будущий долларовый миллиардер Володя Гусинский — тогда главностроитель массовых мероприятий тульского обкома ВЛКСМ... Истинно, мир тесен, есть что вспомнить о советских «тусовках»!

♦ В чем же я провинился перед тогдашней редколлегией главного в стране ежегодника о Толстом, исключая бахвальство редкими книгами и акцентом на религиозной философии Льва Николаевича? Наверное, упоминанием об европатологии. Кстати говоря, та злосчастная статья под названием «Сопоставительные оценки европатологии и гуманистической психологии в творческой периодизации: пример Льва Тол-

стого» в 90-е и 2000-е годы была опубликована во многих литературных и научных журналах, вошла в публицистические книги автора. Хотя и дорого яичко лишь в пасхальный день...

Итак, европатология как *condition sine quo non*\* творческого озарения. Термин этот ввел в обиход оригинальный ученый и врач Григорий Владимирович Сегалин (1878—1960), издававший в 1920-х годах в Свердловске журнал «Клинический архив гениальности и одаренности (европатологии)», последний выпуск которого как раз и был посвящен Толстому под названием «Европатология личности и творчества Льва Толстого» (1930, Т. V, вып. 3—4). Сегалин, таким образом, оказался последним частным издателем на Урале, а скорее всего и в СССР. Как указывалось в решении о закрытии журнала Сегалина, публикуемые в нем материалы — в основном работы самого издателя — уязвимы с методологической позиции в свете современных научных данных. Неизвестно, каким собственным научным реноме обладали закрыватели «Клинического архива», но Г. В. Сегалин в целом продолжал развивать дисциплину на стыке психологии и психиатрии, иногда называемой психофизикой, у истоков которой стояли такие выдающиеся исследователи, как наш соотечественник П. Б. Ганнушкин (из литературных реминисценций сразу вспомните главврача Титанушкина из романа одесских классиков) и, конечно, итальянец Чезаре Ломброзо, автор книги «Гениальность и помешательство». Кстати, имя его напрямую связано со Львом Толстым.

...Когда экскурсовод в Ясной Поляне ведет своих подопечных от дома Толстого к его могиле на склоне оврага, то где-то посередине этого пути, когда открывается вид с холма, на котором расположена усадьба, на низину с поблескивающей на <летнем> солнце речкой Воронкой, он на минуту притормаживает и рассказывает, что именно в этой части реки Лев Толстой спас тонущего Чезаре Ломброзо, которого в такой же летний день повел после обеда искупаться... При этом самые дотошные из экскурсантов поправляют: у них принято было купаться не после обеда, а до него. Если в экскурсантах окажется московский литературовед-толстовед, приехавший в Ясную Поляну освежить впечатления и помянуть своего «кормильца» по роду своих занятий, то он и вовсе перехватит инициативу у скусившейся экскурсоводши, молодой выпускнице местного пединститута, и приятным столичным баритоном пояснит, что где знаменитый иностранец специально приезжал в Россию к Толстому узнать в неспешных беседах его мнения и доводы о природе талантливости избранных природы и их отличии от людей средних ума и чувствований.

Вот именно это *отличие* и есть наиболее общая семантика слова «патология», означающая любое отклонение от *принятой нормы*. Здесь ничего обидного для тех, у кого имеется такое отклонение от «среднего человека» в сторону способности, таланта, гениальности. Но все дело в том, что этот греческий термин изначально и по сей час «узурпировала» медицина с ее пугающим человека дословным переводом: *pathos + logia* ≡ страдание, болезнь + наука. Таким образом, выражаясь в терминах все тех же психологии и психиатрии, в восприятии людей, далеких от этих дисциплин, произошел сдвиг мотива на цель. Или понятийная фрустрация, если так можно сформулировать. В итоге такой семантической чрезполосицы введенное Сегалиным — с учетом пионерских исследований тех же Ломброзо, Ганнушкина и других светил европейской науки — понятие *европатологии*, то есть раздела психологии, изучающего отклонения от <усредненной> нормы в сторону более высоких способностей вплоть до значительной талантливости и гениальности, стало «восприниматься на слух» как нечто уничижительное в отношении этих эврокачеств. То есть пугающий термин «патология» в его сугубо медицинской дифференциации оказался под логическим ударением, затмив основное здесь понятие: эвро — см. эврика! — открытие...

---

\* Непременное условие (лат.).

...Извиняемся перед читателями: мы вовсе не отвлекаемся от магистральной темы очерка, но это суть необходимое для непрофессионала в части психофизики пояснение к пониманию многогранности творчества Льва Толстого.

Еще досаднее, что и сам Сегалин сделал невольно «уязвимыми свои методологические позиции», восприняв, как необходимую, исходную доктрину Ломброзо, концептуально связавшую эвропатологию с определенными психическими нарушениями, стимулирующими творческую деятельность. В упрощенном примере это как то же курение или умеренное употребление алкоголя (особенно последнее для поэтов — да простят они автора...) отчасти стимулирует и/или мобилизует творческие моменты.

Но Ломброзо делает эту связь нормой. Конечно, вся история творчества в лице создателей и созидателей его вроде как подтверждает эту концепцию Ломброзо. У таких высокоодаренных творцов, как у наших Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Есенина, да вспомните знаменитую «арзамасскую тоску» Льва Николаевича, у не «отстающих» от них музыкантов и художников — Бетховена, Ван Гога, Рембрандта, опять же нашего Врубеля,— у всех у них наблюдались определенные перепады относительно психологической нормы, которые Ломброзо сводит к колебаниям от маниакального до депрессивного состояния. Но здесь мы совершенно не согласимся с Ломброзо в отношении Александра Сергеевича. Как раз у него вовсе не было отклонений психофизического характера. Не зря уже почти двести лет его называют «чистым гением», вкладывая в это определение и абсолютное психическое здоровье. А его пресловутая вспыльчивость — это норма, во-первых, для эмоциональной сущности почти любого поэта; во-вторых, для нравов высшего света того времени. Кстати говоря, ошибочно распространенное мнение об «африканском темпераменте», то есть той же вспыльчивости Пушкина. Под таковым обычно понимают нормы поведения еще практически тогда нецивилизованных коренных обитателей собственно центральной (экваториальной) и южной Африки. Но предок Пушкина «арап Ганнибал» был эфиопом\*, которые относятся, наряду с арабами и потомками древнееврейских племен, к семитской группе народов, а это уже совсем иной контекст цивилизации. Поэтому правильнее говорить о южном темпераменте поэта, генофенотипически доставшийся ему.

Однако — к теме. Но ведь и у так называемого творчески не выраженного, то есть рядового человека, обычного, что сейчас СМИ презрительно обзывают обывателем, отклонения от психической нормы далеко не редкость: от эмоционального невроза — особенно, пардон, у женщин — до выраженных фаз маниакального и депрессивных состояний в доклинической, так называемой жизненно-бытовой форме. И если клинические формы по принятой статистике характерны для 2...4 % людей, то кто же возьмется сосчитать доклинические?

Здесь есть основания полагать, что этот доклинический процент будет *одним и тем же* для двух неравнозначных групп людей, в смысле населения: творческих, особенно с приставным словом «эвро», и всех остальных (!?) Здесь опять же наблюдаем выраженный сдвиг мотива на цель: патология, на этот раз медицинская, психофизическая, обычного человека воспринимается всего лишь как особенность характера поведения и в глаза вовсе не бросается. Другое дело таланты и — особенно — гении. Они почти всегда на виду, так что любой спешит рассмотреть соринку в их глазу. ...А если не заметят, то неугомонные литературоведы и прочие исследователи

---

\* Не ручаюсь за достоверность, но много знающие люди говорят, что на одной из площадей Аддис-Абебы стоит памятник Пушкину, на постаменте которого начертано: «Великому эфиопскому поэту...» И так далее.

различных творчеств в своих трактатах обязательно обнаружат и доведут до всеобщего сведения.

Вот и упомянутый нами Сегалин пошел по пути Ломброзо и творческую европатологию обязательно сочетал с психофизической патологией. Потому-то активный автор «Клинического архива» доктор И. Б. Галант публиковал, например, статьи по психопатологии... А. М. Горького с характерными названиями: «Делирий Максима Горького», «О суицидомании Максима Горького», «Пориомания М. Горького», «Психозы в творчестве М. Горького», «Паранойя в художественном изображении М. Горького» и так далее. Каково звучит в наше политкорректно-толерантное время для современного литературоведения в приложении к известному писателю-современнику? Хорошо Алексей Максимович был истинным «инженером человеческих душ», читал эти статьи, одобрял, а в 1934 году по его рекомендации Сегалина приняли в Союз писателей СССР. Горький писал Сегалину: «...Мне сначала хотелось ознакомиться с Вашими интереснейшими изданиями. Условия, в коих оно зародилось и живет, напоминает мне о другом провинциальном и тоже оригинальнейшем издании — о единственном у нас астрономическом календаре, издаваемом в Нижнем Новгороде вот уже четверть века. На Западе календарь этот знают и ценят, на родине — не очень».\*

И несмотря на такое доброе отношение Горького, а также очень чтимого в СССР Романа Роллана, ведущих в мире и в стране ученых в области психологии и психиатрии, как Август Форель, Эрнст Кречмер, Вильгельм Ланге, Г. И. Россолимо, Л. О. Даркшевич, В. М. Бехтерев, В. Л. Гиляровский, уже упомянутый выше П. Б. Ганнушкин, чьи портреты сейчас украшают стены актовых залов медицинских учебных и научных заведений, приветствовавших издание «Клинического архива», на выпуске о Л. Н. Толстом журнал был закрыт.

♦ Мы не для красного словца или щегольства ради вывели «на сцену» Ломброзо и Сегалина, показав истоки методологических ошибок в оценке европатологии творческих личностей, хотя бы их имена навсегда останутся на слуху в истории медицинской науки и психологии. Ибо, как сказал выдающийся индийский философ Д. Чаттопадхья: «Нельзя считать, что в своих длительных поисках истины предки оставили нам одни лишь ошибки и заблуждения».

Нам было важно однозначно определить европатологию в сугубо гуманистическом толковании этого термина, как отклонение от среднестатистической нормы для творческих личностей именно в позитивном качестве. Без такого пояснения звучащий страшновато термин напугал как советских цензоров журнала Г. В. Сегалина, так и редколлегию толстовского сборника 1980-х годов, посодействовавшую изъятию моей статьи уже из готового набора...

И тем более все это по развиваемой нами теме. Сегалин, исследуя творчество Толстого в целом, развертывает во всей полноте принцип «протокола художника», особое внимание уделяя органической и противоречивой роли патологии во всех фазах творчества писателя, а точнее — его творческой жизни. В соответствии со своей методологией исследования Сегалин вводит — ныне хорошо известное и принятое в психологии — понятия европозитивных и эвронегативных периодов, соответствующих творческой активности и упадку, причем первый этап — до «арзамасской тоски» — характеризуется преобладанием первых, а второй — нарастанием преобладания вторых периодов. Любой человек с творческими наклонностями сам на себе может провести такую хронологию. Так вот, если математически обработать (что мы и сделали) данные таблиц Сегалина — анализа названных выше периодов в их хроно-

---

\* Из письма от 4 марта 1929 года; цит. по книге: Петряев Е. Записки книголюбца.— Киров: Волго-Вятское кн. изд-во. Кировское отделение, 1978 (С. 14—17 о Г. В. Сегалине).

логической последовательности, то получается экспоненциальная зависимость спадения длительностей периодов по шкале возраста, что имеет достоверное объяснение: экспоненциальный закон описывает регуляцию и динамику всех биологических процессов, включая и процессы продуктивной, в данном случае художественной, работы мышления, то есть мозга.

Для Толстого-художника и его же мыслителя, философа, моралиста его жизненные кризисы приводили, в отличие от всевозможных клинических и других патологий человека, к иным мотивационным путям, к иной смысловой ориентации в творческой деятельности человека. Последний осознает в такой период кризиса расхождение между Я-реальным и Я-идеальным. Как можно увидеть, зная жизнь и творчество Толстого, в нем это расхождение чувствуется и выражается им с годами все сильнее, а накануне ухода из Ясной Поляны приобретает самодовляющее значение. Обычное течение кризиса: изменение прежних отношений — осознание происшедшего (сравни, у Толстого: невозможность жить прежней жизнью) — укоренение нового в мировоззрении. Таким новым у Толстого является все усиливающееся убеждение, что не художественное отображение жизни, но проповедь и моральное вероучение позволят ему преодолеть пропасть между реальным бытием и желанием духовной гармонии. То же самое он предлагает и своей аудитории, коей являлся к началу 90-х годов весь мир: моральное самоочищение и самоусовершенствование. Библейское «врачу, исцелися сам» он и начал с себя...

В общем случае возможен выход из кризиса в невроз: законсервирование, а не преодоление сложившегося противоречия; преимущественно для натур слабых духом, либо поставленных волею судьбы в непереносимые обстоятельства. У Толстого этого не наблюдается. Иначе он бы не был Толстым...

Остается добавить немного, но и многое: обычно разработка «толстовских» тем идет с привязкой к художественному, беллетристическому творчеству Толстого; а чем же были заполнены годы кризисных перерождений или пресловутых эвронегативных периодов? Заполнены они были рождением, становлением и высшим развитием второго Толстого, обличителя социального зла, извращенного понятия Бога, государственной церкви, войны... Поднимался Толстой-проповедник, искавший выхода из обступившей человека со всех сторон злой немочи, аморализма, сытого европейского мещанства и индивидуализма, отечественной смеси самодержавной нагайки, подцензурной гласности, думского парламентаризма и либеральной горячки. Именно в кризисные периоды Толстой возвышается над всем человечеством, ибо ему одному только дан дар — горький дар! — понимания, что эволюция, пожалуй, впервые подвела человечество в конце XIX века к тому этапу развития, когда ход истории вырвался из-под контроля творцов ее. Не правда ли? Знакомая до боли сегодняшняя ситуация, когда, сто с лишком лет спустя, вновь повеяла на ныне глобализующийся мир, но только в ужасающе большей безысходности, холодом и отчаянием опустошенности, неприкаянности, ощущением замкнутого порочного круга. Люди живут как в кошмарном сне, ведомые непонятным над-Я, куда-то влекущим, скорее всего в братскую могилу, и нет сил проснуться, всюду тебя хватают за руки, втискивают в голову чужие и безотрадные мысли-суррогаты, играют тобой и экспериментируют над тобой, а не говорят ни полслова: зачем, по какому праву и чем это закончится? Какую же преследуют цель? — Только Великий Глобализатор ее знает...

В такие моменты истории приходит на помощь только отчаяние, а оно дает выход в иррациональное. Есть и есть тождество истории: как сейчас заполняются храмы и мечети людьми, не выдержавшими тисков рационалистического безумия мира, так и гений Льва Толстого привел его к единственному выходу, который кажется еще большим безумием, но есть единственный реальный выход из еще большего безум-

ства: *самосовершенствование*. Назовите его как хотите: самоочищение, исправление порока в себе — наследственного и благоприобретенного,— перерождением, начинаемым с себя, если хотите, но это есть те кирпичики, с которых мыслил Толстой построение нового мира, новое овладение миром, человеческой историей, все более и более стремящейся уйти от контроля создателя своего. Кто кого? И возможно ли так ставить вопрос? Самсону ли уподобится человек или это есть испытание природой величайшего своего создания?

Это второй план творческих периодов Толстого, которому уже не стало хватать в чисто художественном самовыражении простора для мысли, больной за все человечество. Точно также сейчас в нашу литературу велением времени вошло философское осмысление, думающая и ставящая вопросы публицистика, открытый монолог-проповедь. Правда, ненадолго вошло. Инициативу перехватили «вечные на подхвате»: основоположники набегали... От оглуляющих СМИ.

Не угасание творческого сознания, не дробящаяся, зацикливающаяся мысль стареющего творца, но непрерывное развитие от художественной к философской мысли, к морально-этической проповеди, от условного к конкретному, к высшему напряжению ума и ясному пониманию: что есть *Я* и моя совесть, мой талант в сложном процессе жизни моей, народа своего, мира, наконец. Вот движущая сила кризисных состояний Толстого, а после преодоления очередного — новое пространство, новое пробуждение, новое и вечное начало.

♦ Итогом таким моральных исканий Толстого и стали его труды, которые в литературоведении принято именовать *религиозно-философскими*: «Соединение и перевод четырех евангелий»\*, «Путь жизни», «Круг чтения», «На каждый день» и ряд других, что в его ЮБПСС в 90 тт. (1928—1961 гг.) составляют так называемые «сороковые тома» (тт. 39—45). А в т. 23 собраны религиозно-философские трактаты 1879—1884 гг., а именно: «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «В чем моя вера», «Моя жизнь», «Церковь и государство». Следует также указать на эпистолярное наследие (тт. 59—90), где очень большое число писем и дневниковых записей, особенно 1880—1900-х годов, относятся к той же тематике.

Мы не случайно выделили выше принятое в литературоведении название рассматриваемого корпуса трудов Толстого. Они вовсе не являются философскими и религиозными. Это подчеркивает в введении к «Соединению» и сам Толстой: «...Цель моя не есть ни историческая, ни философская, ни богословская критика, а отыскание смысла учения. Смысл учения выражен во всех четырех Евангелиях; и потому если они все четыре суть изложения одного и того же откровения истины, то одно должно подтверждать и уяснять другое. И потому я рассматривал их, соединяя в одно все Евангелия...» (С. 18).

То есть Толстой в означенных выше произведениях суть *системный* моралист. Выделенное определение имеет самодовлеющий смысл: талантливые и гениальные творцы, прежде всего слова, как правило, укрупнено подразделяются <условно, конечно> на «специализированных» и «системных». Название группы первых интуитивно понятно. Когда говорим о таких писателях как Диккенс, Чехов, Лесков, Томас Манн — что называется навскидку называем имена,— то все они сугубые беллетристы. Но вот Лев Толстой и Достоевский в русской классике — гении иного рода. Их мы и относим к системным творцам. Их художественные произведения великолепны в рамках избранного ими литературного жанра, но разве язык повернется назвать их

---

\* Толстой Л. Н. Соединение и перевод четырех евангелий (Юбилейное полное собрание сочинений в 90 тт., Т. 91 — указатель). Т. 24.— М.: ГИХЛ, 1957.— 1011 с. Далее по тексту мы ссылаемся на этот труд, обозначая только номера страниц.

беллетристами? Как объединить у Достоевского его «Преступление и наказание», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Подростка» с его политическим «Дневником писателя»? Пожалуй, только «Бесы» как-то пересекаются с публицистикой Достоевского. Зато у Толстого, как сугубо системного моралиста, будь то «Война и мир», а в особенности «Воскресение», или религиозно-философские <условно и мы их так называли; см. выше> трактаты, или «Соединение», наконец, «Фальшивый купон», «Суратская кофейня» и так далее до притч о лисице и журавле, бесхитростного «Филипка» и сказки о девочке Маше и медведях — все подчинено в полижанровом отображении одной довлеющей теме: христианская мораль как единственное в истории цивилизации человечества высшее воплощение человеколюбия и самосовершенствования человека. И как мораль заповедей блаженств Христа, он же «Моральный кодекс строителя коммунизма» в СССР, единственна и неповторима в эволюции человечества, так и художественное, публицистическое, философское <вдругорядь извиняется перед памятью о великом Толстом> наследие — учение нашего русского гения нетленно. Даже в неизбывном, увы, ядерном или космическом катаклизме сохранятся на уцелевших сайтах, будь они не к ночи помянуты, заповеди Христа и их интерпретация Толстым...

...Об <условно> религиозно-философских трудах Льва Николаевича в школьном и неспециализированном вузовском образовании и вообще «для широких масс» ничто или почти ничто не говорилось в советские времена, тем более сейчас. Первое — архипонятно, ибо вся терминология, связанная с религией, по традиции, со времен воинствующего главука безбожников Емельяна Ярославского-Губельмана и ярого русофоба Лейбы Давидовича Троцкого-Бронштейна, подпадала под известное табу. А сейчас? — Да упаси, Боже, при всем поддерживаемом государством ренеме православной церкви-учреждении, популяризовать учение Толстого о самоусовершенствовании и капитале, как естественном враге христианской морали!

И те и другие в один голос восклицают: Толстой и религия — да как можно в одну упряжку их поставить? Толстого, которого <царская> русская православная церковь отлучила, вроде как и анафема предала за его богопротивные сочинения! Не торопитесь, товарищи и нынешние «господа». Пишем в кавычках, ибо эти господа из нуворишей от спекуляций, бандитизма и рейдерски захвативших все, что было за 1000-летнюю историю России, особенно в советский период, накоплено и создано трудом народа, нам не господа. Их классовых предшественников в 1917-м году наши деды-прадеды в гимнастерках и братишковых бушлатах мигом приструнили. Русский человек органически не преемлет господства денежных мешков. ...А все остальные «господа», обзываемые СМИ обывателями, по всей стране скоро перейдут на хлеб и <химический> квас. Зато с гордостью за «компьютерную грамотность» будут расплачиваться в лавчонках гэджиковыми карточками.

Так ответим им, голословным. Сочинения Льва Толстого с религиозными терминами есть только и исключительно составляющие его морального учения, в основе которого лежит Нагорная проповедь Христа, она же — заповеди блаженств Нового Завета. Толстой прямо и нелюбезно отделяет церковь-мораль и церковь-учреждение (см. трактат «Церковь и государство»). Кстати об отлучении. Здесь нафантазировано много. Особенно преуспел наш выдающийся писатель Куприн. «Яму» он писал со знанием дела, но во многих своих рассказах, особенно ранних, как вступивший на литературную стезю журналистом-хроникером газетных изданий, не обладал еще литературной грамотностью, искал «жареного петуха». Так с его известного рассказа, где дьякон, почитатель Толстого, в известный день, раз в году, произносит с амвона анафему. Кроме общехристианских, со времен Великих Соборов, в русском православии анафематствованию <извините, не знаю как в советское время и сейчас> под-

лежат «Стенька Разин, Ивашка Мазепа, Емелька Пугачев\*». В пиар-рассказе Куприна далее следует граф Толстой, но дьякон, чуть подумав, провозглашает ему здравицу!

Так с рассказа читаемого всей грамотной Российской империей Куприна Толстой и был «предан анафеме». В церковных наказаниях существует своя табель о рангах. Как в привычной нам служебной, рабочей жизни есть таковая, с высшей до нисходящей по силе наказания: увольнение, последний строгий выговор, предупреждение о несоответствии... устное замечание, так и в части церковного. Увольнение <без выходящего пособия и с «волчьей справкой»> — это приравнивается к анафеме, а вот самая мягкая мера, соответствующая устному замечанию — это есть формулировка «считать временно отпавшим от православной церкви». То есть предполагается и исправление: возвращение в лоно церкви при покаянии и исправлении. Таковой вот вердикт, весьма отдаленный от анафемы, был провозглашен и в отношении Льва Толстого. ...Нынешние пиарщики многое бы <в валюте> дали за этот вердикт: после опубликования решения Свщ. Синода читательский спрос и, соответственно, тиражи его книг выросли многократно! Во всем мире, заметим.

А вот сейчас, как в занимательном детективе, начинается самое интересное. Свщ. Синод, учрежденный Петром Первым вместо упраздненного патриаршества, кстати, восстановленного в полной мере в России только Сталиным, являл собою сугубо религиозно-чиновническое учреждение. Не мог он наказать великого <при жизни> русского и всемирно известного писателя за его негативное отношение к роли православной церкви как прислужницы госвласти, не мог наказать за прямые слова Толстого о содержании священных книг Нового Завета: «Бред Апокалипсиса, не имеющего поучительного, но прямо соблазнительного... Деяний Апостолов», не говоря уже о «советах Павла о вине и стомахе».

Но как любое современное учреждение, государство в том числе, Свщ. Синод поступил по-адвокатски, нашел статью прегрешения перед догматами церкви. И таким прегрешением для вынесения решения об отпадении графа Льва Толстого от православной церкви явилось предложение из двадцать одного слова из романа «Воскресение», часть первая, гл. XXXIX\*\*:

*«Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки <хлеба.— А.Я.> и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращались в тело и кровь Бога».*

В этих словах Синод усмотрел, впрочем, с его позиций совершенно справедливо, издевательство над главным церковным обрядом и таинством — евхаристией, то есть причащением.

♦ Сам-то Лев Николаевич к «замечанию» Свщ. Синода интереса не проявил. Можно догадываться, что втайне обрадовались росту гонораров от изданий главы семьи хозяйственная Софья Андреевна, дети и внуки, состоявшие на яснополянском коште. Может получили прибавку даже и чеченские охранники усадьбы, нанятые хлопотливой матерью и бабушкой большого семейства графа... Кто знает и скажет?

Только неугомонные литературоведы на службе «всех режимов» возроют опять по части «Соединение...»: как же уважаемый Лев Николаевич с позиции строгой филологической науки смог «соединить и перевести» <с логическим ударением на втором слове> Четвероевангелие, если он не знал древнееврейского языка, а древнегреческим владел якобы в пределах гимназического курса?

Это опять же бездоказательное утверждение. Зачем Толстому нужно было для

---

\*Анафема с Пугачева была снята перед его казнью за покаяние в совершенных грехах...

\*\* Цит. по т. 32 (С. 135) ЮБПСС Л. Н. Толстого. Это первое (1936 г.), редактор Н. Гудзий, аутентичное рукописи Толстого издания романа. До этого года текст давался по изданию «Нивы» — цензурные и иные правки без участия Толстого.

аутентичности перевода знать древнееврейский язык, правильнее — язык арамейский, на котором написан Ветхий Завет? Это язык семитских (правильнее — семитических) племен, распространившихся по всей Передней Азии, то есть Восточного Средиземноморья, во второй половине второго же тысячелетия до н.э. и ставший своего рода международным языком от Малой Азии, включая Иудею и Палестину, до Египта и Западной Персии, тож Ассирии. На западно-арамейском, его библейско-арамейском диалекте написаны и книги Ветхого Завета. Современный иврит тех же корней, но скорее всего в части грамматических правил и алфавита.

Исходным же языком написания четырех канонических евангелий подавляющее большинство исследователей, как светских, так и церковных, полагает древнегреческий, точнее койне\* этого языка, широко распространившегося в начале н.э. в Восточном, малоазийском Средиземноморье и пришедшего в качестве международного языка на смену арамейскому. Авторы евангелий, понятно, из тех же мест. Латынь же полагалась языком римских оккупантов и по понятной причине статус греческого перенять не могла... И только отдельные исследователи истории написания евангелий, причем в отношении лишь старейшего Евангелия от Матфея, полагают, что оно первоначально было написано на одном из диалектов арамейского языка, но получило распространение исключительно в греческом переводе.

...Кстати насчет древнееврейского — вдогонку выше сказанному. Бывая в Ясной Поляне, в доме Толстого и в Литературном музее, всегда обращал внимание на корешки книг в шкафах: далеко не одна и не две имеют тиснение в буквах иврита, что давало повод поразмыслить о хотя бы начальном знании Толстым древнееврейского языка. Но меня разуверил в этом в одну из поездок коллега по работе, знавший по семейному воспитанию идиш (немецкий и частично польский словарь + грамматика древнееврейского) и тайно <время советское> изучавший иврит для переезда на землю обетованную. Он-то и разъяснил: большинство этих книг суть современные Толстому издания на идише, который использует, как и иврит, древнееврейский алфавит: алеф, бет, гиммел и так далее.

И последнее замечание о древнегреческом исходном языке Четвероевангелия. Оно несколько косвенное, но именно поэтому и наиболее убедительное. В 1945 году вблизи Наг-Хаммади в Египте были обнаружены в древнем тайнике рукописи на коптском языке. Это событие в мировой прессе было освещено под заголовком: «Пятое евангелие нашлось!» Кто такие копты и нынешняя Коптская церковь в Египте, а также связанное с ними религиозно-философское течение гностицизма, в начале н.э. составлявшего серьезную «конкуренцию» только что возникшему христианству, любой читатель без труда узнает при желании из широко доступных источников... Самое существенное, что часть этих папирусов, сейчас называемых «рукописи Наг-Хаммади, II, соч. 2, 3, 6, 7», суть апокрифические, то есть не канонические, евангелия от Фомы, от Филиппа, близкие к нам «Толкования о душе», «Книга Фомы», «Сущность архонтов» и «Апокриф Иоанна». Главное, их лингвистический анализ сразу выявил, что на коптский они были переведены в начале н.э. ... с древнегреческого (?!).

Впрочем, если Льву Толстому и требовался точный перевод отдельных арамейских слов, как он сам пишет, то их всегда можно найти в многочисленных исследованиях Ветхого Завета на немецком и французском языках. Их-то он знал хорошо... А эта необходимость возникала при переводе так называемых параллельных мест Ветхого и Нового заветов. Особенно — при исследовании Евангелия от Матфея.

И вряд ли можно сомневаться в слабом знании Толстым древнегреческого языка: в классической образовательной культуре XIX века в России он являлся обязательным. Если Крылов в шестидесятилетнем возрасте основательно его изучил, чтобы в

---

\* От лат. *koine dialectos* — общее наречие, то есть смешение нескольких родственных диалектов.

подлиннике читать басни Эзопа и «перелагать их российским штилем», то что дает право сомневаться, что Лев Николаевич на момент написания «Соединения...» не смог бы дополнить «гимназический курс»? Достаточно открыть этот труд Толстого и узреть единую структуру построения всех глав и параграфов книги: сначала идет канонический текст стиха одного из евангелий на древнегреческом, под которым слева расположен <опять же канонический> перевод стиха на русский язык, а в параллель справа Толстой приводит свое толкование-перевод. Понятно, что здесь он с «греческим не блефовал»... Хотя и был в молодости отчаянным игроком в карты.

...Но бойкие и настырные литературоведы не сдаются, тотчас перескакивая к «вторичности» замысла Толстого о новом прочтении Четвероевангелия и соединении оных. Ничего нового под луной нет, в том числе в исторической традиции. Да и в любых других. Проживая достаточное время в Туле, где до недавнего времени все дышало традициями оружейного мастерства, сам проработав четверть века в «оборонке», хорошо знаю, что новые виды огнестрельного личного оружия не изобретают каждый раз заново и с «нуля», но лишь продолжают не то что отечественную, но чаще — мировую традицию. Когда в молодые инженерные годы работал на одном предприятии с уже почтенным создателем знаменитого пистолета Макарова «ПМ», а сейчас заседаю в докторском диссертационном совете с его сыном и хорошим знакомцем Николаем Николаевичем, то всегда «держу в голове»: мало кто на первый взгляд отличит «ПМ» от личного оружия младших офицеров (у старших — «парабеллум») и унтер-офицеров Третьего рейха «вальтера». Кстати, в массе своей производившего на заводах «ЧКД» оккупированной Чехословакии... Все дело в дальнейшей модификации конструктором Макаровым: если «вальтер» в боевом сборе весь крепился на перпендикулярном оси пистолета штыре, то «ПМ» имел крепежным основанием весь остов оружия. Конечно, изменился и калибр.

А немецкий автомат «МП-42», который военное ведомство Рейха так и не успело запустить в серию? — Найдите в справочниках или в Интернете его фотографию и сравните с детищем знаменитого Калашникова, чей «АК-47» присутствует (или *уже* присутствовал?) на гербах и флагах аж пяти африканских государств? — Правильно, тогда еще сержант, не генерал, Калашников, взяв за основу трофейный опытный образец немецкого автомата, введя <принципиально> новые газоотводную трубку и весь механизм перезарядки, создал оружие второй половины XX века и начавшегося XXI века. «Непромокаемый автомат», как его называют солдаты уже почти семьдесят лет...

И когда встречаюсь с давним моим знакомцем Ярославом Стечкиным (Тула — город «маленький»), то как же держу в памяти, что почти легендарный пистолет Стечкина, не одно десятилетие в Советской Армии бывший личным оружием летчиков и танкистов, тоже не с нуля начался. Как, впрочем, и «ППШ», и еще далее вглубь времени винтовка Мосина, да и револьверы, что мастера-надомники в Чулковской слободе (застал еще по приезду в Тулу их древние домишки!) дотачивали и собирали (см. «Нравы Растеряевой улицы»).

...Извиняюсь вдругорядь, что отвлекся на «темы оружейные», явно не гармонирующие с убеждениями Толстого... впрочем, не забудем его участие в Крымской войне, его Четвертый бастион, его «Севастопольские рассказы». Но именно человек, прошедший через горнило войны — в Крыму и на Кавказе,— смог обосновать свое, новое моральное учение, воследующее Христовой морали.

Сам же Толстой ни в коей мере не претендует на «первоавторство» соединения евангелий. В завершении предисловия к «Соединению...» он пишет: *«Попыток соединения Евангелий в одно было много, но те все, которые я знаю,— Arnolde, de Vence, Фаррара, Рейса, Грегуевича,— все они берут исторические основы соедине-*

ния, и все они безуспешны. Ни одно не лучше другого в смысле историческом, и все одинаково удовлетворительны в смысле учения. Я оставляю совершенно в стороне историческое значение и соединяю по смыслу учения. Соединение Евангелий на этом основании имеет ту выгоду, что учение истинное представляет как бы круг, которого все части одинаково определяют значение друг друга и для изучения которого безразлично начинание изучения с одного или другого места. Изучая таким образом Евангелие, в которых с учением так тесно связаны исторические события жизни Христа, для меня историческая последовательность оказалась совершенно безразличною, и для последовательности исторических событий мне было все равно избрать за основу тот или иной другой свод Евангелий» (С. 19).

Более того, Толстой не претендует даже на общее структурное построение соединения, прямо указывая: «Я избрал два самые новые свода составителей, воспользовавшихся трудами всех предшественников (выд. нами.— А.Я.): Грегулевича и Рейса. Но так как Рейс отделил от синоптиков Иоанна (ввиду того, что Евангелие от Иоанна является исключительно богословским и часто в религиозоведении, точнее — в экзегетике, рассматривается отдельно.— А.Я. в переложении выше цитаты сказанного Толстым), то для меня был удобнее свод Грегулевича, и я его взял за основу своей работы, сличал его с Рейсом и отступал от обоих, когда смысл того требовал» (С. 19).

♦ Еще следует учитывать, что исследуя и соединяя Четвероевангелие, Толстой изначально не полагал свою работу как публично читаемую. В комментариях к «Соединению...» Н. Н. Гусев пишет: «В 1879 г. Толстой пишет для себя самого, без мысли о печатании, работу, в которой излагает историю своих религиозных исканий. В этом сочинении, автором не озаглавленном и начинающемся словами: «Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь», он рассказывает о своем душевном состоянии, о своем отчаянии, о поисках спасения в церковной вере. Далее он подвергает критическому разбору основы церковной догматики (см. в т. 23 ЮБПСС «Исследование догматического богословия».— А.Я.) и отвергает их как противоречащие требованиям разума. Затем он излагает все четыре Евангелия — те места их, которые представлялись для него имеющими понятное поучительное значение» (С. 973).

Но в итоге Толстой заново переделывает ранее им написанное, пересказывая евангельские тексты самым простым, общепонятным народным языком. Но при этом дополняет этот текст подробнейшими толкованиями смысла и значения каждого использованного места из Четвероевангелия. То есть если собственно его изложение Евангелия в т. 24 ЮБПСС содержит 124 страницы, то полный текст «Соединения...» с его комментариями занимает 780 страниц (!)

Н. Н. Гусев подчеркивает моральную доминанту в евангельских исследованиях Толстого: «Отвергнув те толкования Евангелия, которые давала церковь, Толстой потерял доверие и к точности переводов Евангелий, сделанных церковью. Он стал заново переводить все те места Евангелий (с древнегреческого, как отмечает Н. Н. Гусев — вот вам и ответ на вопрос: знал ли этот язык Толстой? — А.Я.), которые, по его мнению, касались вопросов морали (выд. нами.— А.Я.), стараясь понять их, руководствуясь общим смыслом всего учения. При этом особенное внимание он обращал на варианты евангельских текстов, ища в этих вариантах подтверждения того смысла отдельных мест, который представлялся ему наиболее соответствующим общему духу христианского учения» (С. 974).

Итак, «Соединение...» как в полном <исследовательском>, так и в собственно изложении Евангелия Толстым, содержит двенадцать глав, введение и заключение. Перечислим их, как они значатся в изложении Толстого: «Разумение жизни», «Сын бога», «Бог — дух», «Начало разумения», «Царство бога», «Истинная жизнь», «Ложная

жизнь», «Я и отец — одно», «Жизнь не во времени», «Соблазны», «Борьба с соблазнами», «Прощальная беседа», «Победа духа над плотью», «Первое послание Иоанна Богослова» (заключение). В полном тексте «Соединения...» главы, носящие более пространные названия, подразделяются на несколько — до десяти и более в отдельных главах — именованных параграфов, созвучных текстам Четвероевангелия.

Вот как, к примеру, Толстой интерпретирует в своем переводе ключевое место из беседы Иисуса с фарисеями — из главы седьмой «Доказательства истинности учения» полного текста «Соединения...» За первооснову он берет греческий текст из Евангелия от Иоанна (Ин. VII, ст. 16—18) и его церковный перевод: *«Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем»* (С. 440).

Перевод (интерпретация) Толстого: *«Отвечал на это Иисус и сказал: мое учение не мое, но того, кто послал меня. Тот, кто захочет делать его волю, тот узнает об учении, что оно от Бога, или я сам от себя говорю. Тот, кто сам от себя говорит, тот рассуждает о том, что ему одному кажется; тот же, кто рассуждает о том, что кажется пославшему его, тот прав и неверности нет в нем»* (С. 440).

Из простого <семантического> сопоставления канонического и Толстовского переводов трехстишия седьмой главы Евангелия от Иоанна видно, что Толстой упрощает до большей понятности язык изложения, но не упрощает евангельскую мысль. Более того, он в доступной любому человеку речи в определенном смысле *выкристаллизывает* сущность беседы Христа с фарисеями, касающуюся первоосновы христианского морального учения: это не мнение Христа, но божественное откровение, то есть при сведении теологической терминологии к светской этической — первооснова морали учения Христа суть довление естественного морального закона, что Иммануил Кант — с позиции метафизики — назвал практическим разумом. В отличие от его же <абстрактного> чистого разума...

Также необходимо помнить об уже сказанном выше: в отличие от других трех евангелий, Евангелие от Иоанна по преимуществу и исключительно богословское, а значит перевод его — полностью и отдельных частей, мест — на понятный язык требует особой, в том числе филологической, четкости. Потому Толстой в примечании к приведенному выше переводу трехстишия Ин. VII, ст. 16—18 особо оговаривает в части этой четкости: *«Ζητεῖν до сих пор употреблялось писателем и имеет значение и с к а т ь , с т а р а т ь с я (здесь и далее выд. Толстым.— А.Я.), но теперь оно в первый раз употребляется Иисусом и не может быть переведено словом и с к а т ь : искать славы, искать суждения — нельзя. Ζητεῖν здесь значит р а с с у ж д а т ь»* (С. 440).

...Само собой разумеется, что вопрос о языке, на котором Христос говорил с теми же фарисеями — арамейском или древнегреческом койне,— здесь сугубо вторичен. Ибо Иоанн-то писал свое Евангелие на греческом — см. выше. И к этому языку *ipso facto* Толстой и привязывает перевод и тонкости его толкования...

И еще существенный момент: все евангелия и другие тексты Нового Завета написаны языком *иносказательным*. Это, конечно, не нарочитое «запутывание» якобы для непосвященных. Нет, просто в те далекие от нас времена семантика языка только переходила от мифологической образности «детства» мышления человека к тем строгим смысловым конструкциям, к которым мы сейчас привычны. То есть в семантику еще не вошла логическая выверенность. Прекрасно понимая это, Толстой старается добиваться доминирования в своем переводе этой выверенности, что давно стала уже нормой понятного языка. Иначе для чего нужен новый перевод?

В тех же примечаниях к переводу мест Евангелия от Иоанна, относящихся к беседе Иисуса с фарисеями, Толстой прямо указывает на неточности церковного, канонического перевода, искажающего исходные мысли Христа: *«Для понимания бесед Иоанна необходимо помнить, что Иисус этими беседами подтверждает, доказывает, объясняет то, что сказано в беседе с Никодимом (см. Четвероевангелие.— А.Я.), а не излагает никакого положительного учения. Роковое и печальное заблуждение церкви (выд. нами.— А.Я.) состоит в том, что она в этих словах хочет видеть положительное учение. Учения нового никакого здесь нет, а есть подтверждение прежнего, выраженного особенно в беседе с Никодимом. Только помня это, станет ясно, почему, по Иоанну, речи Иисуса, не имеющие ничего такого противоположного для иудеев, возбуждают их гнев. Надо помнить, что повод каждой беседы Иисуса с евреями есть отрицание богопочитания евреев и всего закона Моисея. Каждая беседа затевается с того, что они спрашивают его доказательств законности его отрицания»* (С. 441—442).

...Кстати говоря, всякий — хотя бы в общих чертах — знакомый с «методологией» Талмуда в толковании закона Моисея, тотчас уловит в последнем предложении цитирования Толстого соответствующие мотивы. ...И не потому что Лев Николаевич, вне всякого сомнения с концептуальными моментами Талмуда был знаком, а по той причине, что он при исследовании Четвероевангелия четко уловил особенности времени <земной> жизни Христа и создания евангелий: начало перехода иудаизма от так называемой фарисейской фазы к талмудической. Что Толстой и подчеркивает не раз в примечаниях к переводу и других мест Четвероевангелия.

Это Толстой исследовал евангелия. Наша задача несоизмеримо проще: показать хотя бы основное направление в этих исследованиях. Но и это наш гений сконцентрировано сказал в своем введении «Разумение жизни» в начале собственно его изложения Евангелия. Прочтите, дорогой читатель, со вниманием. *«Евангелие есть возвешение о том, что начало всего не есть внешний Бог, как думают люди, но разумение жизни. И потому на место того, что люди называют Богом, по Евангелию становится разумение жизни.*

*Без разумения нет жизни. Всякий человек жив только потому, что он имеет разумение. Те люди, которые не понимают этого и полагают началом жизни плоть, лишают себя истинной жизни. Те же, которые понимают, что они живы не плотью, а разумением, те имеют истинную жизнь. И эту-то истинную жизнь показал Иисус Христос. Признав истину о том, что жизнь человека происходит от разумения, он дал людям учение и образец жизни разумения во плоти.*

*Прежние вероучения выражались как закон о том, что нужно и не нужно делать для служения Богу. Учение же Иисуса Христа состоит в разумении жизни. Бога внешнего никто никогда не видел и не может знать, и потому служение Богу внешнему не может руководить жизнью. Только признание основой всего,— разумения в себе, происшедшего от начала разумения, указывает путь жизни»* (С. 816—817).

...Несколькими словами Толстой обозначил содержание своего морального Евангелия: *«Иисус замешался тайно в народе»* (С. 999). И ходит он незримый среди него и творит добро, «указывая путь жизни». А для тайности этой святой очень даже хорошо, что Евангелие Толстого не полощут надоедливые интерпретаторы, как, например, нынешние наши культуртрегеры от музы Мельномены с двумя ее подружками из пантеона пластических искусств уже сводят творческий метод Станиславского, ни много ни мало, к фрейдистскому учению (!?) Как говорится, кто платит, тот и девушку танцуют...

♦ Как сейчас Станиславского пристегивают к фрейдизму, так и моральное учение Толстого, центром которого является его Евангелие, в разные времена — при царях,

генсеках и президентах — полагали источником и основанием сектантства, антигосударственности, главное — антицерковности, поскольку Толстой прямо противопоставляет моральную религию духа, души официальной церкви-учреждению. Понятно, что это сильно раздражало Свщ. Синод. Вряд ли такое противопоставление одобряют последующие (восстановленные) патриархи Русской православной церкви, ныне объединившейся с зарубежной православной церковью, также не бывшей доселе в восторге от учения Толстого.

Здесь есть одна существенная тонкость вопроса. Лев Николаевич, не одобрявший церковь официальную, догматическую, словом церковь-учреждение, при этом не видел успешность приложения «на практике» своего учения и в иных формальных религиозных объединениях. Его девиз — самосовершенствование, познание и исполнение христианской, точнее — Христовой, морали в самом себе единичном человеке. Отсюда и его неприятие всякого рода сектантства. Если он принял самое активное участие в переселении духоборов в Канаду, то не в контексте правоты их (сектантской) религии, но исключительно как помощь в избавлении адептов этой секты от жестокого преследования царского режима, наущаемого в этом несправедном деле иерархами государственной православной церкви. Точно также он порицал власть и госцерковь за ущемление прав, в том числе сугубо гражданских, русского старообрядчества.

Более того, в отличие от Христа-проповедника, Толстой являлся, как бы это политкорректно сказать... являлся «кабинетным» вероучителем Христианской морали в избранной и обоснованной им трактовке самоусовершенствования. Вот здесь он и попал в своего рода ловушку, связанную с возникновением в России всевозможных «толстовских обществ», то есть по сути своей морально-религиозных сект. И сам Толстой понимал, что в 1880—1900-е годы, когда смыслом и содержанием его творчества стали религиозно-философские, моральные в своей основе искания, Россия переживала резкий разлом: молох капитализма, скоренько перешедший (догнать и перегнать Европу — это задолго до сталинских пятилеток...) в самый оголтелый империализм, своими стальными челюстями перемалывал сугубо крестьянскую до того страну: общинную, патриархальную, генофенотипически православную, где церковь-учреждение как бы отдельно, параллельно сосуществовала с массовой народной первохристианской моралью. Это как мы сейчас и уже четверть века воочию наблюдаем не менее болезненный разлом: переход от советского коллективизма с его «Моральным кодексом строителя коммунизма», то есть той же Нагорной проповедью Христа — заповедями блаженств Нового Завета, к искусственно насаждаемому мировым глобализмом (извините за скрытую тавтологию) пещерному капитализму с приоритетами общества потребления и атавизма гипертрофированного частнособственничества.

...Это мы все к тому, что как в нынешнем разломе, так и в годы, совпавшие с моральными исканиями Толстого, наблюдается как раз негативный коллапс этой самой морали. Прошлые и нынешние комбинаторы от сиюминутной денежной, властной и иной прибыли не брезгают ничем, спекулируя на казалось бы самых святых душевных чувствах. Вот Толстой и относился вполне настороженно к обществам под знаменами его моральных учений. Это и есть упомянутая выше ловушка: слишком много ушлых, зачастую нечистоплотных людей пробовали «окормляться» вокруг толстовских объединений.

Здесь все проясняет характерный пример, который не сочтем излишним вставить в канву настоящего очерка.

...В доброй памяти советские времена, еще учась в Литературном институте, а потому много и целенаправленно читая, с интересом ознакомился со свежеезданной книгой — сборником воспоминаний современников Толстого о встречах с великим

писателем, преимущественно приезжавших в Ясную Поляну. Запал в память один из эпизодов такого посещения усадьбы, но вот чьему перу он принадлежал? — Почему-то вспоминаются имена прославленных публицистов того времени Гиляровского и Власа Дорошевича... Но вполне возможно автором был и другой, даже из «первого ряда» литераторов. Главное, что книга была издана в советское время, а значит развесистой (ныне интернетовской!) клюквы не содержала. Доверительная, значит, книга. Чтобы не искать первоисточник и не докапываться в памяти, будем ниже автора воспоминаний называть рассказчиком — без обиды для <возможно> славной в русской литературе фамилии автора.

Рассказчик, приехав в Ясную Поляну, застал там группу «толстовцев» сплошь с окладистыми бородами, в посконно-домотканных рубахах, в пыльных сапогах — все атрибуты опрошенной одежды хозяина усадьбы в поздние годы его жизни и труда. Как раз к полуденному времени попал, потому и был зван Софьей Андреевной вместе с другими гостями в столовый зал на втором этаже толстовского дома. Похваливая скромность вегетарианского обеда, бородачи явно из вежливости прикасались к блюдам принятой в Ясной Поляне сервировки обширного стола. Старшина толстовцев все более словоохотливо рассказывал хозяину дома о трудах своей братии по изучению моральных трактатов Толстого и воплощение их в повседневную жизнь общины, спрашивал все новых и новых советов. Толстой, как человек непубличный, семейственный, любящий доверительное общение с интересными ему людьми, явно тяготился «допросами» бородачей, но вида не подавал.

Когда же он вознамерился облупить крутое яйцо, старшина, изобразив на незаросшей бородой части лица неудовольствие, упрекнул хозяина: «Что ж вы, Лев Николаевич? Ведь курочка за свое яичко обидится...» Смущенный Толстой отложил ежедневное в его рационе досадливое яйцо... которое в данном случае курицу решило учить...

Вскоре после постного обеда толстовцы с сияющими почти что овеществленной святостью лицами, истово поблагодарив хозяина за гостеприимство, а главное — за возможность подышать одним воздухом с великим их учителем, отбыли из Ясной Поляны. Побеседовав с Толстым, рассказчик также покинул усадьбу, уехал в Тулу к вечернему московскому поезду. На вокзале, взяв билет на проходящий до столицы курьерский, рассказчик, чтобы скоротать оставшееся в ожидании время, зашел побаловаться чайком с тульским медовым пряником в вокзальный ресторан... Ах, этот столь памятной по советским годам (извините, есть повод отвлечься от темы) Московский вокзал, построенный во времена бума железнодорожного строительства в России последней трети XIX века! Истинный громадный дворец по ведомству Министерства путей сообщения: как императорского, так и советского; про нынешнее не интересовался: существует ли вообще теперь такое министерство? Вряд ли — какое-нибудь *ОАО* его заместило. А лучше — *ООО*...

Как мы, молодые инженеры, а чуток попозже и начинающие «инженеры душ человеческих», любили посещать в табельные, то есть предпраздничные, дни великолепный вокзальный ресторан с огромной высоты потолком с лепниной и люстрой, с двусветными окнами, колоннами дорического ордера, с двустворчатыми входными — из зала ожидания и прямо с перрона — настоящими дубовыми... не дверями, но дверями! Главное, что не изменились со времен двух последних Александров-императоров, не говоря уже о втором Николае, ни внешний вид мундира с галунами у швейцара, ни качество кухонных яств. Прости нас, Лев Николаевич, что в очерке о твоём моральном вероучении и самосовершенствовании мы уже второй раз упоминаем про вкушение явно скоромной пищи. Но опять же яснополянского гения вспомнили к слову. Мы почти осязаемо ощущали, что, может быть, сидим в ожидании за-

каза в том самом месте ресторанный зала, где за сто без малого лет тому назад сметливый и ловкий в движениях половой-татарин с почтением обслуживал самого Толстого, Тургенева... всех великих имен и не перечислишь. А подзабыл — выйди через перронную дверь и на внешней стороне вокзальной стены в метровой ширины добротной кладки на памятных табличках прочтешь: кого и когда здесь встречал Лев Николаевич, кто сходил с поезда, посещая Тулу. Люди тогда путешествовали неторопливо, совмещали полезное с приятным, а тут тебе и гостеприимно приоткрытая швейцаром ресторанный дверь! А Бунин, не раз коротавший часы на этом вокзале, пересаживаясь с московского поезда на другой, увозивший будущего первого «нобеллиста» от русской литературы (не считая Генрика Сенкевича, тоже подданного русского императора...) в его воронежское имение, и вовсе заставил принять судьбоносное и печальное по последствиям решение героя рассказа «Натали» из цикла «Темных аллея» именно на тульском вокзале в ожидании такой же пересадки. Оба они — автор и его персонаж — явно в часы ожидания не манкировали двусветным ресторанным залом...

Однако же закончим эпизод с давешними посетителями Ясной Поляны. Рассказчик, заказав половому пару чая с пряничной прикусой, в рассеянии оглядывал собравшуюся в зале публику. Знакомый рассудительно-вальяжный голос за спиной привлек его внимание: через стол от него плотно сидели давешние «толстовцы», резко оттеняя своими посконно-домотканными рубахами крахмальную белоснежную скатерть, густо уставленную по столешнице дымящейся скоромной едой. Бородачи с увлечением работали столовыми приборами, заедая малоаппетитный обед у своего учителя и наставника. Старшина же артели, с чувством введя в организм стопку водки «со слезой» и приступив с нескрываемой жадностью хорошо потрудившегося работника к солидному, в две трети тарелки бифштексу с восторженной корочкой хорошей прожарки, щедро окропленной сарептской горчицей, дал отмашку самому молодому из ватаги: дескать, разливай по следующей! Утолив первый священный голод, старшина утерся накрахмаленной же салфеткой и все также рассудительно, явно продолжая прерванную вкушением блюд беседу, изрек: «Да-а, великого ума и благочестия человек — наш Лев Николаевич. Но уж слишком суров и жесток в мирских делах, прости нас, господи!

...Истинно, говоря библейским языком, делая хорошие, богоугодные дела, не знаешь куда повернут следующие за тобой малоразумные овцы.

♦ Не знаю как прошел праздник ведьм «великий шабаш» на родине этого сомнительного увеселения на Брокене в горах немецкого Гарца, но у нас в Центральной России Вальпургиева ночь — на первое мая — удалась в этом году на славу: весь вечер накануне грохотали громы и молнии сверкали — первые за весну; дождь сменялся откровенным ливнем, далеко за полночь сполохи непрерывно озаряли горизонт набрякшего свинцовыми тучами неба. Повеселились же ведьмы отечественного разлива! И ведьмаки при них разумеется. Но вот встало на дневную трудовую вахту солнце, которое, наверное вспомнив радостный советский Первомай, преподнесло чистейшее небо, безветрие и комфортное тепло: гуляй, дескать, народ не хочу!

А на главном канале <государственного> радио затеяла ежеутреннюю двухчасовую передачу веселая парочка, баран да ярочка — по Далю. Вдоволь поехидничав над прежним названием праздника, это где про солидарность и трудящихся, парочка уже не смогла остановиться в выбранном наклонении — актуальном и грамматическом сослагательном одновременно. Иначе почему бы в «День весны и труда» темой они избрали... грядущую всемирную жизнь без одного, то есть без труда? Рассказали про тенденции в этой части в странах Евросоюза, в частности, про финский эксперимент, когда выборке в пару тысяч человек положили оклад в 560 €/месяц, так назы-

ваемый «базовый безусловный доход», и предложили: хочешь работой, хочешь на евродиване, отслеживающем удобную для постояльца форму, круглосуточно лежи — все одно тебе ежемесячно на карточку эти евроки будут перечислять.

Разохотившись, сладкая радиопарочка и данные уже в России состоявшегося выборочного опроса по Интернету привела: две трети опрошенных хотели бы ничего не делать, но чтобы этот «базовый и безусловный» регулярно поступал на их <патриотические> карточки «Мир». И радиоведущим посыпались интерактивные предложения в эфир — в основном всех интересовала сумма этого <сослагательного> «базового и безусловного»: народ желал его видеть и осязать в суммах от скромных десяти тысяч, рублей конечно, до заманчивых «ста тонн». Словом, козыряй и бери выше!

И даже своего мудрого кота я заподозрил в союзничестве с «сослагательными» ордами бездельников: показалось, что внимательно смотрит своими немигающими глазами на кухонную радиоточку, делает всякие мыслительные упражнения на морде лица, словно подсчитывая свой «базовый и безусловный»: в день сто граммов сырой куриной печени, обваренной кипятком, два пакетика психотропного «вискаса», что-то еще мясного по мелочи и пшенной каши, сваренной все с той же печенкой, — от пуза.

...Язвить в наше славное время всепоглощающей глобализации и умозамещения\* можно без конца, ибо мы уже живем в предельно искривленном Зазеркалье. И что совсем недавно воспринималось как юмор, сатира, гротеск, то сейчас есть *норма* бытия, не вызывающая никаких эмоций. Кстати, по той же самой причине полностью вышел из обихода анекдот. На этой антитезе вспомните 60—80-е годы с обилием этого живого фольклора! Если у того же Пушкина отвращение к труду вызывало полнейшее осуждение — например, он говорит об Александре Первом «плешивый щеголь, враг труда» (наброски к продолжению «Евгения Онегина»), — а у Толстого прямое обличительное негодование, то сейчас это есть все та же *норма*. То есть труд, как основное содержание жизни по морали Толстого, сейчас стал ветхозаветным <Адамовым> проклятьем.

Отсюда и закономерный вопрос: зачем и для кого Толстой создавал свое Евангелие? Особенно имея в виду историческую параллель: Матфей, Марк, Лука, Иоанн, а также авторы апокрифических евангелий, чьи папирусы были обнаружены в пещере у Наг-Хаммади, — у них была конкретная и четкая цель: собрание под знаменем Христова учения людей, их массы, целые народы, желательно — весь известный тогда мир, что им почти и удалось. Более сложно однозначно определить движущие мотивы предшественников Льва Толстого в части Соединения и исследования Четвероевангелия (их имена названы выше), в основном, ученых немцев и французов. У некоторых из них общий объем работы достигает 10...20 томов (!?) Но на то они и «сумрачный германский гений» и «острый галльский ум», чтобы в своих исследованиях дотошно выявить истину, представляющуюся им как *point sur les «i»* (поставить точку над «i», фр.), полагая, что их часть работы («мануфактурный принцип» у Маркса, чье 200-летие мы в этом году отмечаем) выполнена на «отлично», а плодами их трудов пусть пользуется каждый кто пожелает по своему усмотрению.

...Опять же, вполне возможно и совсем не к месту (пришел поручик Ржевский и все испортил...), вспомнился один рассказ ныне совсем забытого, но замечательного довоенного советского писателя Овадия (даже в советских грамотных изданиях его

---

\* Пространное разъяснение этого нашего нового слова, чем мы гордимся не менее, чем Достоевский своим «стусеваться», см. в книге: Алексей Яшин. Задуманные беседы об умозамещении / Предисл. Л. В. Ханбекова. — М.: «Московский Парнас», 2017. — 343 с. (В электронном виде — на сайте [www.pz.tula.ru](http://www.pz.tula.ru); раздел «Библиотека журнала «Приокские зори»).

имя иногда ставили ошибочно — Овидий) Савича. Герой этого повествования ученый немец полжизни потратил на создание словаря русских нецензурных слов и выражений (известно, что лучшие словари русского языка в XIX — первой половине XX вв. создавали немцы...\*), имея целью после издания которого занять кафедру русистики-славистики в приличном германском университете. Все одно пример к сказанному выше.

Нам представляется, что в части создания религиозно-философских трактатов, вершиной чего является Евангелие Толстого, можно воспользоваться — хотя речь идет о совершенно ином — объяснением героя знаменитого романа Германа Гессе «Игра в бисер» Магистра Игры Йозефа Кнехта предстоятелю Верховной Коллегии Касталийского Ордена магистру Александру: *«Моя жизнь ... должна стать преступлением пределов, непрерывным восхождением с низшей ступени на высшую, я должен преодолевать и оставлять за собой одно пространство за другим, как музыка раскрывает, проигрывает и завершает одну тему за другой, один темп за другим, не утомляясь, не смыкая глаз, всегда бодрствуя, всегда начеку. Благодаря моим «пробуждениям» я наблюдал, что такие ступени и пространства действительно существуют и что в конце определенного отрезка жизни каждый раз появляется оттенок увядания, желания смерти, но потом все меняется, приходишь к новому пробуждению, новому началу».*

Так Кнехт объясняет предстоятелю причину своего ухода из Ордена. А о чем думал, уходя из Ясной Поляны, последний евангелист христианской эры? — Не эта ли Кнехтова *transcendere* — постоянное преступание пределов в творчестве, проповеди добра и самосовершенствования двигали им в этот последний перелом, завершая последний кризисный момент в его жизни... Перед Богом Толстой предстал со своим Евангелием.



---

\* Имеются в виду специализированные словари. Так, например, четырехтомный этимологический словарь Фасмера по сию пору считается лучшим из когда-либо созданных по этой филологической отрасли... хотя бы (это наше сугубо личное мнение) он и содержит немалое число не вполне достоверных толкований этимологии (происхождения в семантической восприимчивости) как чисто русских, так и заимствованных слов.